

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ

ТРИ ДОПРОСА

ПО ТЕОРИИ
ДЕЙСТВИЯ

ТЕТРАДКИ GEFTER.RU

**Александр Филиппов
Глеб Олегович Павловский
Три допроса по теории действия
Серия «Тетрадки Gefter.Ru»**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6254799*

*Разговоры о политическом действии / Глеб Павловский, Александр Филиппов: Европа; Москва;
2013*

ISBN 978-5-9739-0213-1

Аннотация

Записи диалогов Александра Филиппова и Глеба Павловского, шедших в редакции сайта GEFTER.RU. Разговоры о политическом действии, его субъекте, цели и результате, основанные на личном опыте участия в российской политической истории 1970-х – 2010-х. Рефлексия деятеля, направляемая ученым, для будущих активистов и профессионалов.

Содержание

Введение	4
Первая беседа	6
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Александр Филиппов и Глеб Павловский

Три допроса по теории действия

Введение

Ирина Чечель, шеф-редактор интернет-портала «ГЕФТЕР»

Изначальным нашим намерением был эксперимент. Свести двух «разноплеменных» интеллектуалов, ученого и политика, так, чтобы схлестнулись два разных мира. И они действительно схлестнулись, но вовсе не так, как мы ждали. Их политический, но всякий раз и подчеркнuto литературный поединок полон аллюзий, стихийных догадок, метафор. Но если Александр Филиппов настаивал в каждом своем вопросе на точности самоопределения, то Глеб Павловский – на потребности в «невозможном», его основе. Точкой приложения сил для обоих стал, впрочем, характер представлений о возможном и действительном в СССР. Казалось, старшее поколение что-то хочет до нас донести, настаивает на своем. Увидим, смогло ли.

Александр Филиппов, доктор философских наук, профессор высшей школы экономики

Довольно давно я решил для себя, что разговаривать с политиками невозможно. Мне-то что: я спросил и убежал. А вот им еще жить и жить. Так что правды не скажут. Впрочем, искушение тоже велико для того, кто занимается политической философией. Предложение от журнала «ГЕФТЕР» поговорить и опубликовать беседы с Глебом Олеговичем Павловским застало меня врасплох. Я не сразу решился. Пожалуй, лет пять-десять назад ничего бы не получилось. Но лет пять-десять назад мне бы даже отказываться не пришлось. Впрочем, общее предубеждение против политиков у меня сохранилось. Вот почему я решил не затрагивать сегодняшние привычные темы и, по возможности, воздерживаться от оценок. Актуально-политическое, считал я, само прорвется в разговор. И оно прорвалось. Самыми актуальными оказались суждения самые общие, рассказы о вещах, исторически наиболее давних. Так всегда бывает; я испытал удовольствие от бесед также и потому, что получил от них больше, чем ждал и чем вообще мог надеяться. Одно уточнение жанрового характера мне хотелось бы сделать. Мы действительно встречались три раза, записали разговоры на диктофон и работали с расшифрованной записью. С самого начала мы уговорились, что каждый редактирует лишь свой материал, не ограничивая собеседника в объемах и характере его редакции. Это, несомненно, принесло свои плоды: разговор на самом деле был более живым и менее литературно обработанным, чем то, что сейчас публикуется. Это пошло скорее на пользу основному массиву текста, появлению которого на свет я отчасти способствовал.

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики

Беседы с Александром Фридриховичем Филипповым я определил себе как жанр философского допроса. Крайне дружественного! Но я отказался бы отвечать, не считая нужным внести логику в то, что логичным не было. Отвечая, затем редактируя текст, я жертвовал его живостью для точного существа дела, как я его вижу.

С конца 60-х, когда мне, школьнику, вздумалось действовать политически, я не встречал сильных препятствий, кроме себя и своего незнания политики. Испытывая власти на прочность, я находил в них недостаток реализма. Реальность противилась, находя недостаток во мне.

Я из тех, кто уничтожал девяностые годы. В 1993-м, поставив эту цель, я шел к ней методично, издалека, ломая правила. В 2000-м я праздновал победу над врагом и среди правящих подымал бокал за великолепную власть. После, сильно запоздав, пришло чувство оскотины.

Первые двадцать лет я учился думать и действовать под «авторским надзором» Михаила Яковлевича Гефтера; последнее десятилетие, постсоветское, на моей совести. Следовало мне действовать или нет? Вопрос беспредметен. Для человека действия все возможно, и все возможное будет испытано им или кем-то еще. Меня действие уж слишком пьянило. И я добавлю к сказанному две вещи: трезвее и с Богом. Действуйте, но поосторожней, пожалуйста.

Первая беседа

Причина и цель эффективного действия в политике

Филиппов А. Ф.: Мы приступаем к беседам, и, хотя круг возможных тем очень широк, я, уже по дороге сюда, внезапно подумал, что больше всего меня интересует ваша биография, причем в данном случае не столько конкретика, сколько связанный с ней более принципиальный вопрос. Сейчас наступило время, когда многим кажется, что снова опускается мгла, все становится ужасно упругим и абсолютно ничто не поддается какому-либо изменению. У меня достаточно давно, в советские годы, было такое же ощущение безнадежности, и я помню формулу, которую тогда придумал: раз я ничего не могу сделать, я хочу хоть что-нибудь понять.

В ваших биографических сообщениях, которые я читал, замечен прямо противоположный настрой. У вас достаточно рано появляется представление о том, что результата достичь можно. Как появляется это ощущение достижимости результата?

Я пока не спрашиваю, какого результата вы хотели достигнуть, это отдельный вопрос. Но как приходила в голову мысль о возможности?

Павловский Г. О.: Своя биография – неприятный предмет, никогда не реконструируемый вполне честно. Но отвечаю на ваш вопрос. Решение о себе появляется сразу как мысль о жизни «на результат» – окончательным, как загруженная извне программа в 1968 году. Год-эмблема – звучит претенциозно, но шло начало 1968 года и я заканчивал школу. Был и личный образ решения – **Че Гевара**. О боливийском финале его я узнал спустя месяц-два после гибели. И вдруг пришла ясность, что: а) я такого хочу, б) я так могу и в) я не *так* живу! Живу школьником в ленивой, сытой буржуазной Одессе. Выбор ясен, но это не выбор не из чего-либо данного.

Уже были прочитаны **Брэдбери**, *Summa Technologiae* **Лема**, **Стругацкие**. Очень волнующий меня, не давая понимания того, как туда войти, мир «научной фантастики» – *НФ*, закрытый для действия мир-картинка, капсула будущего внутри советской утопии. Он предлагает темы, которые легко становятся моими... но с ними нечего делать в Одессе! С другой стороны, сильная, физически ощущаемая власть однозначного мира. Не столько коммунистическая диктатура, сколько диктатура *однозначной* среды, где всем все ясно заранее. Власть увенчивает ее официальным «так надо» и запирает жизнь, оставляя тебя без будущего. В Одессе это усугублено культом желудка, здравомыслия и обычным приспособленством южан. У меня есть для них клички, заимствованные из литературы: *конформисты, мещане, потребители, обуржуазившиеся коммунисты*.

Че Гевара взломал однозначность. Я еще не знаю, как он это сделал, но теперь знаю, что это *можно* сделать. Оказывается, из запертого мира есть выход, лаз в нечто подлинное. Это дико и моментально возбуждает. Гормональный коктейль десятиклассника вскипел, и явилось решение, что я *должен* это сделать. Ставка того стоит, нужно только решиться, и будет результат. Вот первоимпульс, он появился вдруг.

Никаких причин противопоставить себя миру в роли центра действия у меня нет. Я по уши в быту, дернуться некуда. Но возникает странная идея, что невозможное можно *подготовить*, как готовят восстание или побег. Что это лишь вопрос находчивости и выдумки, технический вопрос. Жестокое условие такой «техники» – то, что ставишь на карту себя: жизнь, быт, смерть. Себя одессита, болтающегося по городу с друзьями или валяющегося с

книжкой на диване – теряя время, как все в Одессе. Теперь время – мой расходный материал, его мало. Мой образ жизни меняется – я навсегда перестал лениться.

Следующие добавки к решению придут с открытием *истории* как основания действовать, *марксизма* как результативной технологии и *диссидентства* как неполитической политики. Это все уже в университете. Там выяснится, что я не один, что есть сообщества таких, как я. Враг не советская власть, а некая форма ее узурпации. Ее можно по-разному объяснять, но зачем? Запутывать себя политическими теориями? Реальная власть теперь ты и сообщество тех, кого ты защищаешь. Кто дремлет под гипнозом здравого смысла, об этом просто не знают. И ладно, пусть спят и тебе не мешают. Они твои спящие сограждане, в будущем они будут с тобой. Слово *полис* как синоним Родины появится позже, но смысл уже был таков: все это советское, жалкое вокруг – мое, и, пока я действую, оно ложится под мою волю. Я буду за него сражаться. Люди вокруг – мои братья по разделенному советскому величию. Они пассивны, но я говорю с государством их именем как неполитическая власть их всех.

В универе из самиздата я узнаю о новинке 1965 года, имени **Александра Есенина-Вольпина**¹ – о *неполитическом республиканстве*. Праве твердо стоять перед властью именем высокой нормы, именем Конституции. Позиция конституционного стойка дает ускользнуть от пошлости антисоветизма – западни для врага власти. Но в то же время явочным образом интенсифицировать натиск на нее. Что ложится на основу, подготовленную **Петром Лавровым**², Стругацкими и **Померанцем**, который придумал *советскую интеллигенцию* как имя действующей среды. *Мыслящего движения*, как позже мне объяснит **Гефтер**.

Где-то здесь впервые возникла мысль об эффективности, хотя она еще так не называлась. Тогда это скорее идея умной расчетливости действия – икономия поступка перед лицом явно превосходящей силы. Я увлечен выхваченным у Айзека Азимова концептом «минимально необходимого воздействия» на ход истории (МНВ). Дальше начинается марксистская полоса.

Филиппов А. Ф.: Замечательно. Я хочу подчеркнуть, что вопрос ведь не состоит в том, как это было на самом деле. Разобраться в этом смогут, наверное, историки. Но то, что есть сейчас, есть в вашем воспоминании. Интерес представляет то, как это реконструировано сейчас. Сегодняшний ответ на сегодняшний вопрос о том, как сегодня представляется прошлое, – только это мне интересно. Поэтому я полностью удовлетворен такого рода конструкцией. Но я бы хотел понять какие-то детали. Скажем, Стругацкие 60-х годов. Понятно, что любой человек на моем месте спросит: откуда вы знали, где сердце у спрута и есть ли оно вообще?

К этому вопросу я бы хотел подсоединить вопрос менее литературный, более философский. В вашем описании присутствует возвращающаяся фигура ближайшего круга людей. Вот есть детский ближайший круг, круг *common sense*, такого здравого смысла, который исходит из того, что есть способ выстроить свою жизнь хорошо в том виде, в котором сейчас все идет своим чередом. Следующий этап – сопротивление этому кругу, осознание такой технической возможности. Эта техническая возможность – метод залезания в танк вместо того, чтобы бросаться под него или убегать от него. Если вы не согласны, вы мне скажете, что нет, не хотели вы залезать в танк.

Следующий этап, тоже понятный, – это ориентация. Естественно, появляется другой круг, опять малый, диссидентский. У него тоже есть *common sense*. Что значит *common sense*

¹ Александр Сергеевич Есенин-Вольпин – математик, философ, поэт, один из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР. О «неполитическом республиканстве» он рассуждает в своем «Гражданском обращении» – <http://antology.igrunov.ru/authors/volpin/1083933987.html>

² Петр Лаврович Лавров (1823–1900) – русский социолог, философ, публицист и революционер, один из идеологов народничества.

в данном случае? Своего рода благоразумие, опытность в подборе эффективных средств? И вот вопрос, который я фиксирую как конец этой цепочки: ради чего должно совершаться это действие, что должно быть целью действия? Как появляется идея эффективного средства? Откуда берется понятие цели?

(В скобках замечу: любопытно упоминание Стругацких, которые все чаще пишут в 60-е именно о неудачах, – «Трудно быть Богом» с трагедией в конце, «Обитаемый остров» с чудовищным финалом. А у вас получается, что их истории на самом деле, как выясняется, не парализующие, а, наоборот, мобилизующие. Как происходила такого рода мобилизация?)

Павловский Г. О.: Вопросы естественны. Бросаться под танк я, как одессит, был не склонен. «Залезть в танк» для нас тогда значило приспособиться, став начальником. Пойти к «ним» на службу – в партию, в КГБ, «чтобы там одним хорошим человеком стало больше». Неинтересный ход мыслей, я не рассматривал такую возможность. Мой ответ в те годы был не залезть в танк, а перепрограммировать его. Либо свести танк с ума – перехитрить, как лемовского *Сэтavra*³.

Стругацкие, братья-писатели, в юности играли роль моих гувернеров. Поколенчески так совпало, что Стругацкие усложняли свой образ мира в меру возраста, как бы для меня лично. Я рос и по мере взросления получал очередного «ежа под череп» в новой книжке Стругацких на Рождество. Начал читать их во втором классе с «Багровых туч», и тогда этот простенький космо-экшн был вровень мне. Я подросток, и братья-писатели усложнили задание. «Трудно быть Богом» и «Далекая радуга» в шестом классе стали для меня метафорой хрущевского *Sturm und Drang* в космосе и на Кубе. «Хищные вещи века» – про потребительский коммуно-капитализм конвергенции – переход к брежневским 60-м, в 9-10 классе.

Мой волюнтаризм обуздывали *хард-эндс* Стругацких. Они писали анти-фэнтэзи по схеме «мечта плюс облом». Но облом-то меня и заводил! Советское воспитание 60-х прятало от нас все острые вещи – конфликт, травму, облом. Стругацкие запитывали меня важным опытом – будущих неудач. Теперь я знал: да, это и мои будущие ошибки. Да, вот мои проблемы, и я *хочу* их испытать. Оттого братья заканчиваются для меня в 1969 году, когда их ставленник вырос. Загрузив в себя основы сопромата по Стругацким – «Улитку на склоне», «Обитаемый остров», «Гадких лебедей», – я перестаю их читать. Они мне теперь не нужны, дальше – сам.

Недоставало важной вещи, ведь Че Гевара защищал обездоленных буквально – порабощенных, нищих, голодных. А что защищаю я – свободу личности от сытых мещан? Мало-вато будет! Только в самиздате мне открылось, что и кого я защищаю: **Пастернак, Марченко⁴, Мандельштам, Белинков⁵, Солженицын, Шаламов** – великие мужи, великие их книги, похищенные властью. Итак, мы хранители опыта русского XX века – высшего опыта человечества.

Самиздат дал мне понятие нормы и ее попрания. «Мы великая держава» – это теперь мне диктует не Политбюро, а **Ахматова, Бухарин и Платонов**. Мы *другие советские* – те, кто взял на себя кровь Революции и эту кровь искупает явочным утверждением нормы. Мы аристократия, правящая *Союзом крови и нормы*. Тут уж все, брат, мобилизация; назад хода нет, дернешься – предашь. Играет пластинка «В лесу прифронтовом» и страх оказаться властью или пособником. КГБ для меня – это власовцы и были, им сдаться – *табу*. Инако-

³ Сэтавр – сверхмощный промышленный робот, потерявший управление; герой рассказа Станислава Лема «Охота на Сэтавра»

⁴ Анатолий Тихонович Марченко (1938–1986) – писатель-диссидент, автор книги «Мои показания» (1975).

⁵ Аркадий Викторович Белинков (1921–1970) – русский прозаик, литературовед. За роман «Черновик чувств» (1943; опубликован в 1996 году), не вписывающийся в канон соцреализма, был репрессирован и провел в заключении с 1944 по 1956 год.

мыслящее сообщество тогда еще не называли диссидентами, имя появится к середине 70-х. Мы говорили *Движение*, Демократическое Движение.

Поражения не боялся, рассчитывая обратить и его в преимущество, в ресурс контратаки.

«Иди навстречу своему поражению, – учил меня, мальчишку, в Одессе ссыльный **Борис Черных** ⁶, сибирский писатель и педагог. – Твое имя Глеб, твой святой из проигравших; Бориса с Глебом зарезали, но их поражения – это наша голубая кровь». «Капитал в Марксовом смысле, – говорил мне философ **Генрих Батищев** ⁷, – это универсальная культура, опасное, но решающее преимущество, оно с нами!» Цель действия – спасение того высокого, что было проиграно. Коммунизм – ослепительно великая неудача. И неважно, кто победил в прошлом. У нас есть плацдарм – память культуры, отступившая, чтоб ударить сильнее. Но где мои окна успеха? У Че Гевары был *штурм Санта-Клары* ⁸, а на что результативно рассчитывать мне, «неполитику»?

В 1973-1975-м возникло мировое окно политического прорыва. Китай и Киссинджер вынудили Москву к детанту с США, в СССР начали печатать кое-что из запретного, меньше сажать. Но советский либеральный истеблишмент предал Движение и шатнулся к власти. Возник раскол, и в расколе – диссидентство. Которое в политику не пошло, но запустило освобождение других. Нобелевскую премию получил Солженицын, в 1975-м – Сахаров. Они открыто прессуют Кремль и глобализируют контекст Движения, увлекая среду за собой. Диссидентская Москва стронула Восточную Европу, чехов и поляков. Поляки додумали наш концепт неполитической политики до Солидарности, пока мы тут писали в самиздат да носили передачи в тюрьму.

Филиппов А. Ф.: Я рад, что в вашем рассказе постоянно фигурирует слово «сообщество». Малое сообщество, **сообщество порядочных людей** – эти определения очень важны, тут открывается этический момент. Мы понимаем, что этическая регуляция жизни малых сообществ – это, с одной стороны, штука всегда достаточно напряженная. Но, с другой стороны, малое сообщество – это то единственное место, где, вообще говоря, возможна сугубо этическая регуляция. Вы можете спросить знакомого булочника, зачем он вас обвесил, но вы не можете спросить о том же хлебную фабрику, а если и можете, то это будет вопрос не этический, а другого характера.

И все же малое сообщество выступает носителем универсальных (это затертое понятие, но здесь оно используется в точном смысле слова), общечеловеческих притязаний. В некотором смысле это «община верных», которая идентифицирует себя как носителя таких притязаний. Понятно, что у этого необязательно должен быть какой-то конкретный программный смысл, у сообщества может и не быть представления о следующих шагах. Но совершенно очевидно, что место для теоретического продумывания мы здесь так и не определили. Совершенно непонятно, где здесь место размышления, где бы оно могло находиться.

Понятно, что любое наше действие инициирует некую цепочку следствий. Например, мы включили свет, человек с улицы его увидел, понял сигнал и совершил какое-то действие. До тех пор пока мы опознаем, что это следствие нашего действия, это все еще наше действие. Мы понимаем, что это мы его вызывали. И пока у нас существует малый круг, мы

⁶ Борис Иванович Черных (1937–2012) – писатель, диссидент. Арестован в 1982 году по обвинению в создании семинара «Товарищество», в написании и распространении повестей, рассказов, дневников, критических писем в Политбюро ЦК КПСС, в хранении тамиздата. Освобожден в 1987 году в ходе горбачевской кампании по помилованию политзаключенных.

⁷ Генрих Степанович Батищев (1932–1990) – видный советский философ, специалист по теории познания, диалектической логике, этике; доктор философских наук.

⁸ Штурм Санта-Клары – штурм кубинского города Санта-Клары в 1958 году под предводительством Че Гевары стал одним из решающих сражений Кубинской революции.

передаем друг другу соответствующую литературу или договариваемся о каких-то других действиях подобного же рода; мы знаем точно, как вести себя, чтобы тебя считали порядочным человеком. Ведь мало быть самому уверенным, что ты порядочный, надо еще, чтобы тебя признавали, и понятно, что это за круг, который тебя признает своим – порядочным, то есть достойным вхождения в сообщество. Но любое расширение – количественное расширение круга людей или расширение, продление той цепочки действий, которую мы готовы проследить после того, как нажали какую-то кнопку, продумывание каких-то больших программ, конкретизация того, во что это все могло вылиться, как ни крути, ставит под вопрос простые этические регуляторы.

Обратите внимание: до этого у нас не было вопроса об этической регуляции, он появился только сейчас. Сначала был вопрос об эффективности, потом внезапно он куда-то делся, вместо этого появился вопрос об этической регуляции. Я пытаюсь сейчас отследить внутреннюю логику нарратива. Первый вопрос, который я поставил, который меня страшно волновал: как появляется идея того, что вообще можно с этим что-то делать? Я получил полноценный ответ на этот вопрос. После этого последовал рассказ о малом сообществе, в котором существует этическая регуляция, идея присвоения или продолжения существования в качестве носителя универсальной человеческой культуры. И после этого появляется, извините, мутная характеристика под названием «окно возможностей». Понятно, что мы просто не стали в это уходить, поэтому она и осталась мутной. Но она совершенно никак не вытекает из функционирования этически интегрированного носителя высшей мировой культуры и культуры сообщества. Очевидно, что здесь произошло – не могло не произойти – интересное переключение одного типа регуляции, осмысления поведения, на другое. И очевидно, что эта вторая сторона дела – она востребована совершенно другой стороной, которая, говоря по-гегелевски, должна быть в известном смысле отрицанием первой. И что должно быть отрицанием, что должно отрицаться, что должно релятивизироваться, как вообще между собой уравниваются вот эта этическая и техническая сторона? Техника и этика с сегодняшней точки зрения.

Павловский Г. О.: Так и было, как вы говорите. Я, наверное, еще и сглаживаю. У меня не было инструмента отслеживать свои переключения. Вот нечто, что я тогда называл марксизмом. Здесь меня волнует диалектика, а из диалектики – мысль, что никаких обособленных сфер нет, все пронизуемо. Помню взрыв мозга при чтении брошюры о диалектике: ба – ни с чем не надо считаться! Никого не дожидаемся, а *status quo* как значимой силы просто нет. Освобождающая инъекция, в меня будто вкололи сыворотку бешеного зайца.

Окно возможностей переживается и мотивирует, но стратегически не продумывается. Социальная инерция для меня лишь «момент», государство – также «преодолимый момент». Реальность – конфликт латентных схем будущего, одну из которых можно материализовать. Когда твоя победит, прочие присоединятся, а кто не захотел присоединиться, тот незначим. Здесь в бессознательное упрятан вопрос: каким образом *этическое* первенство перейдет в *политическую* победу? И что с теми, кто не присоединится?

Первое, что я вообще пишу для самиздата в 1972 году, – статья о том, чтобы покрыть СССР «сетью координаторов контркультуры». Слово *контркультура* я стащил из статей Юрия Давыдова⁹ против новых левых. Меня интересует, как превратить мыслящее Движение в координируемую схему действия на результат.

⁹ Юрий Николаевич Давыдов (1929–2007) – советский и российский философ, социолог. Специалист по проблемам истории и теории социологии, этики, истории философии и искусства, автор книги «Эстетика нигилизма: искусство и “новые левые”» (М.: Наука, 1975).

Филиппов А. Ф.: Контркультурное движение?

Павловский Г. О.: Контркультурное – в отношении официальной советской политической культуры, к которой я отношу и власть.

Филиппов А. Ф.: То есть имеется в виду не западная контркультура?

Павловский Г. О.: Разумеется, нет – политический самиздат, подвальная культура *инаков*, система хиппи. Про западную я мало что знаю, и мало что знаю про здешнюю.

Филиппов А. Ф.: То есть можно интерпретировать это так, что та высшая культура, о которой шла речь в ответе на предыдущий вопрос, она и есть та контркультура?

Павловский Г. О.: Да. И она меня якобы наделила мандатом на свою защиту и продвижение во власть. Тем более что и самиздат устроен по сетевому принципу. Ты можешь координировать кого угодно. Оттуда веет ветерком тайной власти. Самые сомнительные мои проекты были связаны с идеей *кнехтовской*¹⁰ «воспитательной коллегии» для СССР. Воспитывать предполагалось, конечно, «массы».

Филиппов А. Ф.: То есть через культурное воздействие происходит социализация новых религиозных посвященных?

Павловский Г. О.: Да, население изымают у власти и посвящают в высокую политику через диссидентство и самиздат.

Диссидентство 70-х годов – община верных, где нарушитель норм не просто из нее выбывает. Нарушив правило племени, ты должен перестать жить. Туземец, которого изгнало племя, ложился и умирал. В странствиях по Союзу я встречал людей, которых давно, где-то в 50-е, краем задело следствие КГБ по полит-делам. Дал показания – и с тех пор валяется где-то в избе в Петушках да пьет. Около **Вени Ерофеева**, кстати, были такие, но там их привечали и прощали. И все-так и они уже редко восстанавливались.

«Порядочные люди» как тип меня, разночинца, не сильно интересовали, прямо скажу. Это был частый в Москве, довольно скучный типаж: мы с вами как порядочные люди... Но для меня тогда этическая регуляция значила нечто большее, чем быть порядочным. Я разругался с рядом весьма порядочных людей из среды философии вроде **В. С. Библера**¹¹. Для того политика была «вещь прекрасная, как страсть – но страсть не философия». А для меня нарваться мыслью на риск – это и была философия. Я в их «порядочности» считывал готовность ходить на партсобрания, чтоб исключить то Гефтера, то Зиновьева.

Место мысли для меня уже было определено. С 1970-го в моей жизни есть Михаил Яковлевич Гефтер, и это сняло вопрос о месте обдумывания действий в текущей истории. У Гефтера в Черемушках Советский Союз обдумывает себя. Позже, когда я втяну Гефтера, разумеется, с его согласия, в диссидентскую среду, я счастлив – звезды сошлись: Гефтер, Движение, самиздат. Смутные наития весны 1968 года подтвердились – призыв к действию оказался нелжив.

С Гефтером мы сразу сошлись на ряде пунктов, один из которых – XIX век, как наша Античность, русские Афины и Рим, и страсть к народничеству. Он объяснил мне народников

¹⁰ Йозеф Кнехт – персонаж романа Германа Гессе «Игра в бисер» (1943). «Воспитательная коллегия» в романе – орган, отвечающий за элитарное научное образование молодых людей.

¹¹ Владимир Соломонович Библиер (1918–2000) был создателем неофициального домашнего семинара, объединявшего ряд молодых тогда сотрудников Института философии.

как тип неполитической политики – влиять на государство этически, оставаясь вне власти. Я подхватил это, но про себя бормоча: пуля в брюхо за вызов человеческому достоинству! Этический экстремизм Движения вел к политическому надрыву, Гефтер предупреждал о риске «интоксикации этикой». Для меня связь Движения с XIX веком – это мобилизующий момент, он укореняет в истории. Мы не Иваны, родства не помнящие, – не какие-то там *западники*!

С середины 70-х диссидентство стало мировой величиной. Растет напряжение между полюсом *влиятельности* и полюсом *ненасилия* – как влиять, оставаясь чистым?

Мировое влияние – моральный риск. В схему диссидентства включился западный рычаг с «плечом» мировых масс-медиа. Зато я сразу почувствовал, как вокруг меня возникла аура неприкасаемости вроде защитного поля. Ты под контролем КГБ, всегда на их локаторе, как небо над Москвой. С другой стороны, тебя, как римлянина, нельзя ударить и даже толкнуть; за тобой следят, подслушивают и обыскивают, но без команды не тронут. Была уверенность, что мы играем на невидимой глобальной клавиатуре, но без нот и неумело. Вроде бы вышли на серьезный политический рубеж, разрешен выезд из СССР – но зачем он нам? Это нужно совершенно не тем, кто действует. С другой стороны, соблазн отъезда становится непреодолим. Он срезает кадровую подпитку среды, и к концу 70-х на место арестованных следующие не придут. Как раз теперь, когда можно бы начать игру с властью, наклонить их на переговоры (прецеденты исторического компромисса в Италии, модели Венгрии и Польши мы с Гефтером много разбирали), вести переговоры стало некому, идет разгром среды. Я опускаю тут всю историю с журналом «Поиски», хотя в 1970-е больше всего жизни и нервов ушло на эту растоптанную инициативу, последнюю в Движении.

Уравнение «община верных – рычаг влияния» сломалось на моем аресте. Я не нахожу решения и, сдав полпозиции, политически теряю все. Делаю недопустимое в нашей среде – признал на суде себя виновным, думая так спасти возможность новой игры. Но я уже вне игры. Это выход из сообщества, автоостракизм. Получив ссылку, я долго лечу свои травмы в Коми АССР. Потеря чувства принадлежности к «племеню верных» – аут, парализующий действие.

Филиппов А. Ф.: Для меня важно все, что я услышал, именно поэтому я хотел бы уточнить. То, что вы принимали за голос совести, было голосом окружающих вас уважаемых людей. Потом этот круг произносит некий вердикт. Частично внятный, частично невысказанный, но...

Павловский Г. О.: Это ситуация клуба порядочных джентльменов – вердикт звучит внутри тебя.

Филиппов А. Ф.: Да, это именно то, что я хотел услышать, это очень важно.

Павловский Г. О.: Оттого повторным шоком, когда я вернусь из ссылки, будет то, что остракизма-то не было. Вердикт был во мне самом как саморазрушительная программа, требующая от нарушителя правил доломать себя и прекратиться.

Филиппов А. Ф.: Вот это место очень интересное, хотя бы секунду задержимся. Вот он звучит, этот вердикт. Понятно, что есть некая иная инстанция, кроме того прежнего круга. Если бы я писал о вас роман от первого лица, мог бы я сказать несколько высокопарно: «И тогда я обнаружил, что у меня есть еще и другая инстанция»? Или: «Я ничего не обнаружил, а обнаружили другие люди, например мой родственный круг»? Или это был, скажем, не кто-то из круга людей, окружающих меня, а такая парадигматическая история: революционер в ссылке встречает носителя народной правды? Я понимаю, что это не тот случай, но, грубо

говоря, почему бы нет? Например, открывается какой-то другой круг литературы, или происходит обращение через откровение, некий результат внутренней работы, и интенсифицируется некоторая новая инстанция.

Я не психоаналитик и не считаю себя вправе копаться в душе, но мне интересно, что об этом можно сказать сегодня. Теперь об этом можно рассказать, и это скорее поучительный рассказ. В нем присутствует то, что, например, Рикёр называл «нарративной идентичностью» – она-то и есть состояние рассказчика, реконструируемое в разговоре. Причем в данном случае я условный адресат этого разговора, потому что мы знаем, что это будет опубликовано, и есть некий плохо определимый адресат разговора. Но этому адресату, безусловно (я с некоторой наглостью присвою себе право сказать так), интересно знать, как с сегодняшней точки зрения происходит концентрация нарративной идентичности, вот этого «я», которое умеет преодолеть звучащие в нем голоса, учреждая инстанцию совести, при этом что совесть в значительной степени – это интериоризация референтного для нас круга людей и суждений этого круга.

Павловский Г. О.: Внутренний голос, говорящий со мной на *ты*, обсуждая мои поступки, появился со дня решения о себе в 1968-м и больше не уходил. Но я научился иногда ему возражать – *нет, будет по-моему!* На суде я осудил свое диссидентство с крайне софистическим аргументом: мол, признаю себя виновным, раз государство считает меня таковым. Далее я попытаюсь превратить эту увертку прямо-таки в политическую позицию. Три года в ссылке я защищал похабное поведение на суде, как якобы свой компромисс. Опираясь на то, что до ареста действительно звал диссидентскую среду к диалогу с властью. Итак, суд – это моя политика, моя версия компромисса! Апологетический трэш. Но я одержимо защищаю его. Внутри самобичевание, вовне агрессивная самооборона. Хорошо, что Гефтер отверг эту позицию. Сегодня я думаю, что это меня спасло от слома.

Филиппов А. Ф.: Не принял с какой стороны? Что в ней кажется неприемлемым для него?

Павловский Г. О.: Для него было неприемлемо не падение, а самоапология слома. Он требует признать факт падения и не скрывать его от себя. Аресты 1982 года для него оказываются страшно важны, они даже меняют его исследовательскую программу. Гефтер погружается в исследование русского XIX века как истории словом и возрождений – декабристы и следствие по их делу, Чаадаев, Пушкин, люди 40-х годов. Падший Пушкин для него – травмированный изменой декабризму поэт, который, перенацелив себя в «николаевском Пушкине», становится русским гением. Гефтер втягивает и меня в эти старые распри. Но запрещает использовать великие прецеденты для самозащиты. Что важно, так как я от Гефтера вымогал поддержки своего капитулянтства, но с ним этот номер не прошел. Его суждения были интенсивно этическими, хотя не моральными в обычном смысле слова.

Филиппов А. Ф.: Если можно как расшифровку источника, чтобы у будущего читателя не было недоразумения: этическими, но не моральными, – что это, скажите немного сверху.

Павловский Г. О.: Не моралистическими, я имел в виду. Гефтер в разговорах постоянно включал русскую историю в обсуждение личных дел. Он требует радикально ясного именования и разбора поступков, претендующих на публичность и соответствие максиме. Он говорил мне: будь на высоте своего поражения.

Филиппов А. Ф.: Где здесь этическое суждение? Может быть, я слишком копаюсь, но я хочу понять, какое суждение является этическим и почему оно не мораль, не морализация? Мы можем когда-нибудь вернуться к этому. Просто зафиксируем пока момент, который я очень хочу понять.

Павловский Г. О.: Тезис Гефтера в отношении моего 1982 года – это не просто политическое поражение, это *мое падение*. У падения всегда есть основания, но в результате – капитуляция и презренный софизм. Падший обязан встать сам. Я не вправе ни искать виноватых, ни вербовать жалельщиков и особенно жалельщиц в свой фан-клуб. Не лезть к старым товарищам с поучениями о новой политике.

Филиппов А. Ф.: Не было ли среди этих рекомендаций также и идеи, что если этот круг оставлен, то надо создавать вокруг себя новый? То есть не столько искать в старом кругу, сколько быть творцом нового? Или эта идея не присутствовала в принципе?

Павловский Г. О.: Нет, не вполне так. Диссидентство не мыслило себя особым кругом или средой. Поскольку *мы общество*, сменить круг нельзя. Но возможна пауза *деятельного одиночества*, это слова Гефтера. Спокойно обдумав, вынести сложность самого себя. У него был абсолютный аргумент – падший Пушкин 1825 года, падший князь **Трубецкой**¹². Всякий падал, но не все после этого поднялись и не все решились прояснить себе смысл поражения.

Филиппов А. Ф.: Что бы Гефтер считал не поражением? Например, не поражением было бы отказаться признавать вину?

Павловский Г. О.: Да. Он считал категорически исключенным для меня то, что я сделал. Впрочем, и я до ареста считал это для себя категорически исключенным.

Филиппов А. Ф.: Почему с его точки зрения это поражение? Говорил ли он, что здесь есть поражение?

Павловский Г. О.: В ссылке мы вели переписку, хотя не все в письмах могли обсуждать. Он знал, что я искал позицию политического компромисса диссидентства с властью по польской модели. «Тем более, – говорил он, – позицию нельзя конвертировать в личную выгоду». Софистикой на суде я потерял уникальный шанс. Если бы только я уперся, держась позиции компромисса, могла открыться возможность, которой я искал. Я не мог не понимать доводов Гефтера. Ведь это же и моя логика: когда закладываешь себя целиком в ресурсную базу действия, закрытая ситуация может открыться. А раз так, изволь соблюдать правила игры всерьез.

Филиппов А. Ф.: Имеем ли мы право сделать вывод, что у него было некое гипотетическое представление о непоражении как о некотором эффекте, некотором результате? Упрись, еще упрись, и тогда.

¹² Сергей Петрович Трубецкой (1790–1860) – один из самых известных декабристов. Согласился стать «диктатором» восстания в Петербурге 14 декабря 1825 года, надеясь на переговоры с правительством, но на Сенатскую площадь не пришел, вероятно, из-за потери веры в успех предприятия. Был осужден по 1-му разряду и приговорен к казни, замененной ему «вечной» каторгой, которую он отбывал в Нер-чинских рудниках и на Петровском заводе. После ряда указов, сокративших Трубецкому срок заключения, с 1839 года он смог жить на поселении в Иркутской губернии. Амнистирован в 1856 году.

Павловский Г. О.: Нет, Гефтер никогда меня не подстрекал. «Упрись» значило «будь собой»; стой на своем, ограниченном, но не подсказанном.

Филиппов А. Ф.: Я имею в виду не подстрекательство, а некоторую гипотетическую схему. Если совершившееся реально рассматривается как падение, а длительная упертость – как непадение, то в конце концов как историк, как мыслитель, как теоретик он должен иметь в виду также следующий результат. То есть результат, который пускай не будет полной победой, но по крайней мере не будет падением.

Я сегодняшний хочу понять: шанс на что? Открылось там окно возможностей, возможностей чего? Упрощая ситуацию, скажу плоскими словами, но не имея в виду какие-либо оценки. Вот существует какая-то игра по воздействию на ситуацию. В этой игре есть круг благородных джентльменов, как было сказано, и есть рычаг-плечо западных СМИ. В какой-то момент какой-то элемент схемы нарушается и происходит то, что произошло. И тут нам говорят: вот если бы проявил большевистскую стойкость, тебе бы открылся шанс.

Павловский Г. О.: «Стойкость» не то слово. Но этот ход мысли ему не чужой.

Филиппов А. Ф.: Я понимаю, что очень грубо это воспроизвел. К тому же интонация недружелюбная. Но я совершенно не постигаю, какой шанс должен был открыться. Я не совершаю никаких однозначных суждений, у меня нет позиции ни за, ни против, но я не понимаю ничего про шанс, вообще ничего не понимаю. Какой шанс?

Павловский Г. О.: Гефтер редко поддерживал мои порывы к быстрой результативности, он считал их этически рискованными. Вообще, он порицал мой прагматизм как клеймо одессита. Однажды, купив в Одессе томик Германа Гессе на украинском языке, он поддразнивал меня – что, опять *гра в бисер*?

Но в данном случае он разбирал мой кейс – идею политики диалога, изложенную мной перед арестом в самиздате. Там я предлагал образ иного диссидентства, разделяющего с властью ответственность за сверхдержаву для спасения Союза от катастрофы. Гефтер говорил: прекрасно, но такому проекту нужен *признанный Движением* субъект – партнер власти. Ты предлагаешь Движению поменять позицию: отказаться от противостояния в обмен на встречные шаги власти. Если ты этого действительно хотел, твоя задача исключает личный компромисс с КГБ! Надо было создать *политику компромисса*, с безупречной репутацией в Движении.

Вообще Гефтер ни от кого не требовал безупречной репутации. Но он считал личную твердость обязательной в переговорах о компромиссе. Ради столь высокой ставки надо выстоять в конфликте, воль, заставить будущего партнера признать тебя, то есть уступить. С КГБ это трудно, но не исключено. Павловский не Сахаров – власти могли уступить в неважном для них нюансе. Сохранив диссидентскую норму непризнания себя виновным, но заставив их признать тебя компромиссной фигурой, выигрываешь половину игры. С репутацией политика, настоявшего на своем принципе в споре с властью, ты и с Движением можешь говорить тверже. Не сдавшись, я смел бы *требовать диалога*. А чего может потребовать тот, о ком говорят: «Он все слил»?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.